



Владимир Михайлович Петров родился в 1948 году в селе Замартынье Трубетчинского района Рязанской области. Окончил Воронежский технологический институт. Автор многих книг публицистики и прозы. Лауреат липецкой областной литературной премии им. И.А. Бунина. Член Союза писателей России. Живет в Липецке.

Владимир Петров

БОЛЕЗНЬ ЛЮБВИ

Документальное повествование
по письмам Ивана Бунина и его близких

*Был праздник в честь мою, и был увенчан я
Венком лавровым, изумрудным:
Он мне студил чело, холодный, как змея...*

Иван Бунин, «Два венка»

Иван Алексеевич и Вера Николаевна Бунины долгие годы вели дневники, отражающие многие события их жизни: в окружении, в быту, в мире литературы. Кроме того, они переписывались друг с другом. Эта переписка велась постоянно, особенно последние два десятилетия жизни. Их эпистолярное наследие огромно и бесценно. Прежде всего тем, что дает возможность понять феномен Бунина как великого писателя и раскрыть некоторые особенности его характера. Тут оценки могут быть разными, но все они меркнут, наложенные на удивительный дар Творца, которым Он одарил Бунина. Это надо иметь в виду и не проецировать черты характера на его творчество.

Дневниковые записи И.А. Бунина за 1934 год, первый после получения Нобелевской премии, не сохранились — вероятно, он уничтожил или просто не делал их. Вера Николаевна вела дневник, но так же скупой и совсем немногий. В чем причина?

Она в той драме, которая разразилась в доме и которую Бунин изживал трудно и мучительно долгие годы. Тут есть над чем подумать: необычность жизненных обстоятельств, поступков, действий — всегда урок. Важно понять, а не судить.

Как-то в приватной беседе с одним доктором филологических наук, профессором, услышал запальчиво резкую оценку: «Бунин — негодяй!» Сразу стало понятно, что далее вести разговор с ученым мужем не имеет смысла: профессор охарактеризовал себя сам. Тем не менее, такой «расстрельный» взгляд существует. Но категоричность не всегда приближает к истине, чаще уводит от нее. Далее мы убедимся в этом на конкретных примерах — высказываниях людей из окружения Буниных, самих участников драмы.

В июле тридцать шестого года Иван Алексеевич пишет из Грасса Вере Николаевне (она в это время находилась в Париже) письмо. В эти дни он напряженно работал над завершением книги «Освобождение Толстого» — уже был заключен контракт с издателем. В письме он признается: «Надо поскорее свалить с себя работу и куда-нибудь закатиться: ведь я целых 2 года не видал путем ничего, не видал лета, да и вообще света белого в той до неправдоподобности дикой чепухе, в которую полетел я вдруг, да еще с такой высокой горы, на которую влез я было...»

Далее — о «чепухе», горькой, обидной, отравившей его жизнь на годы.

Начало, исток этой драмы возник в уже далеком теперь двадцать шестом году, пик перелома — с момента получения известия в ноябре тридцать третьего года о том, что Нобелевская премия в области литературы присуждена русскому изгнаннику Ивану Алексеевичу Бунину.

В своих поздних дневниковых записях Бунин неоднократно, но скупно, не желая раскрывать своих чувств, вспоминал далекое и счастливое время, когда в его жизнь вошла Галина Кузнецова, начинающая писательница и чужая жена. Встреча, как оказалось, перевернувшая всю жизнь Бунина, Веры Николаевны, самой Галины. Но до трагической развязки еще далеко: были годы напряженного творческого труда, подъем на вершину — к Нобелевской премии. Жертвенной героиней жизненного сюжета — так распорядилась судьба — стала Вера Николаевна, преданная и любящая «своего Яна» жена.

Логично расценивать как знак случай в грасском доме Буниных, произошедший во время грозы в один из августовских дней 1926 года, в канун встречи писателя с Галиной. «Вчера была такая гроза, что Ян, сидя в кабинете, видел огненный шар почти у головы, потом посредине комнаты», — отметила Вера Николаевна в своем дневнике.

Спустя месяц она, совсем больная, разбитая, поникшая, записывает: «Слабость. Безразличие... Ян опять в бегах...». И на следующий день: «Расплата, что имеешь мужа, который “радует других” (имеется в виду творчество), а потому он освобожден от обязанности радовать меня...»

В этих строчках — первые сполохи тяжелых испытаний, которые предстоит пережить ей, начало мучительной внутренней борьбы с самой собой и роковыми обстоятельствами. Чтобы спастись, простив и мужа, и Галину — на пути постижения Бога.

В начале следующего года Вера Николаевна, словно в душевном оцепенении, отмечает: «...я два месяца ничего не записывала. А за эти 2 месяца было пережито так много, что положительно от полноты сердца уста немеют. Я — одна. Яна до сих пор нет...»

А в мае пишет более открыто, как бы пытаясь найти успокоение, смириться: «...А пережито за этот год, сколько за 10 лет не переживала. По существу, м.б. история очень простая, но по форме невыносимая зачастую...» И убеждает саму себя: «Теперь мне нужно одно — быть с Яном ровной, ничего ему не показывать, не высказывать, а стараться наслаждаться тем, что у меня еще осталось — т.е. одиночеством...»



Вера Муромцева, Иван Бунин, Галина Кузнецова

В этом же месяце Галина Кузнецова поселяется в доме Буниных, сделав первую запись в дневнике, получившем известность как «Грасский дневник». А спустя несколько месяцев здесь же появляется новый жилец — молодой писатель Леонид Зуров.

Все приведенные записи, учтем это, — лишь слабое отражение душевного состояния Веры Николаевны. Было еще немало другого: быт, переживания за родных, оставшихся на родине. А потом, в канун каждого нового года — томительные мысли (всех жильцов грасского дома) о премии, спасительной в материальной нужде и бездомности.

Бунин упорно работает над вторым томом «Жизни Арсеньева». Галина — первый слушатель новых глав. И сама, прилежная ученица, много пишет, познает тайны мастерства: ведь рядом учитель, наставник...

А он записывает в октябре тридцать второго года: «Лежал в саду на скамье на коленях у Г., смотрел на вершину дерева в небе — чувство восторга жизни».

Как многозначительна эта фраза!

Наступил тридцать третий год, октябрь месяц, когда мысли и чувства всех сосредотачиваются (не один год!) на тревожном ожидании: присудят ли Нобелевскую премию Ивану Алексеевичу?

Вера Николаевна отмечает: «Неприятный день. Завтра присуждается премия Нобеля. Хорошо, что в этом году мы за неделю узнали об этом, и только сегодня о ней думали и говорили».

Иван Алексеич 20 октября заносит в дневник: «Вчера и нынче невольное думанье и стремление не думать. Все-таки ожидание, иногда чувство несмелой надежды — тотчас удивление: нет, этого не м.б.! Главное — предвкушение обиды, горечи...»

Томительные дни ожидания в тридцать третьем закончились — премия, наконец-то, присуждена Бунину!

«В четверть пятого 9 ноября по телефону я впервые услышала, что Ян Нобелевский лауреат», — спустя пять дней записывает Вера Николаевна.

Бунин в этот день пытался писать — «с дерзостью отчаяния»; был нервен и, наконец, ушел вместе с Галиной в синема. От напряжения каждый из «семьи» Буниных спасался, как мог.

Галина так характеризует сгустившуюся атмосферу: «...у меня было уже ненормальное состояние, и это небо, и этот день, и город внизу уже были не те, что обычно...».

Когда раздался звонок из Стокгольма, Леонид Зуров мчится с новостью в город и прямо в синема, где еще шел фильм, сообщает известие Бунину. Все трое сразу возвращаются домой к дрожавшей от возбуждения Вере Николаевне. Та сообщает о втором звонке. А затем — непрерывная череда телефонных звонков, настоячивые просьбы журналистов с надеждой первыми взять интервью — из Парижа, Ниццы, Стокгольма и других городов.

Силой воображения отчасти можно представить, что творилось в грасском доме Буниных, каково было психологическое состояние лауреата, Веры Николаевны, молодых учеников — Галины Кузнецовой и Леонида Зурова. Но лишь отчасти — такое можно лишь пережить.

И вот в эти сумбурные, суматошные, нервные, эмоционально накаленные дни, происходит то, что кладет начало новому, драматическому периоду в жизни Ивана Алексеевича и всех жильцов дома.

Оглушительным ударом для всех стало неожиданное решение Бунина ехать в Стокгольм за получением премии одному! Сам ли он принял его, по подсказке ли доброжелателей — неизвестно. Но оно возникло! Сказался, может быть, страстно-эмоциональный, эгоцентричный нрав отца Бунина, а он, как отмечала Вера Николаевна, преобладал в характере Ивана. Но не только. Ведь Иван Алексеевич, оказавшись вдали от России, ощущал себя изгнанником, а высокое признание, международную славу не мог не воспринять еще и как ответ поработителям родины, большевистскому режиму. И хотел быть на награждении подчеркнуто одиноким, не сломленным, гордым, в славе и торжестве.

В этом предположении, думается, есть доля истины — такой жест был бы символичным и сильным. Отметим: мотив изгнанничества звучит в его нобелевской речи вовсе не просто.

Очевидно, что такое решение было ошибочным и не могло не нанести незаживающих ран всем обитателям грасского дома. Ведь он шел к славе, к мировому признанию не один, а окруженный любовью и обожанием Веры Николаевны, Галины, Зурова.

Спустя пару недель Вера Николаевна пишет из Грасса Ивану Алексеевичу в Париж, где тот уже «купался в лучах славы»:

«Твое нежелание быть с нами в дни твоего торжества меня удивило. Действительно, ни один человек не знает другого. Да и сам он себя не знает. Через двадцать семь лет ты удивляешь меня... Думаю, что если бы год назад тебе говорили, что ты в состоянии жить один в Париже и **поедешь один** в Стокгольм, ты возмутился бы на говорившего...»

На нобелевские торжества поехали вчетвером — Бунин, Вера Николаевна, Галина и журналист Яков Цвибак, в это время ставший секретарем лауреата. Дни перед поездкой в Стокгольм были вполне сумасшедшими и для самого Ивана Алексеевича, и для домашних. Встречи, покупки, бесконечные поздравления, вал почтовой корреспонденции...

Вера Николаевна, уже в Париже, дописывает: «Два дня здесь, а наедине с Яном была всего минут 20, не больше...»

Галина отражает события этих дней так же кратко, но многозначительно: «Девятого ноября наша жизнь ... переменялась. Не знаю, что будет дальше. И.А. настаивает, чтобы я ехала с ним в Стокгольм, но я колеблюсь. Я заторможена, затуркана, плохо сплю, все думаю, хорошо бы мне настоять на отдыхе где-нибудь, вдали от всего и всех ... не радуюсь до сих пор перемене в нашей жизни».

Но особенно важно обратить внимание на мгновенно произошедшую перемену в Иване Алексеевиче, которую почувствовали все — его внутреннее отчуждение! Он замкнулся, стал чужим.

Вот что вспоминает Галина Кузнецова уже после нобелевских, как миг промелькнувших, торжеств: «Когда я теперь оглядываюсь назад и вспоминаю эти три месяца, я вижу, что И.А., в сущности, получил премию один, как-то мгновенно отделившись внутренне, как только получилось подтверждение телеграммой неразборчивых телефонных голосов из Стокгольма. Он тогда под каким-то предлогом ушел из дома и, по собственному выражению, как-то “строго” отнесся к происшедшему...»

Но и по возвращении из Швеции «он был вне себя, ничего ясно не осознавал, на все отзывался неправильно».

Нобелевские дни промелькнули. «Но, видно, он мало насладился своей короткой славой в Швеции, да и действительно прошло все потрясающе быстро, так что кажется, будто снилось, — отмечает Галина. — Пришел он в себя, в сущности, только здесь (т.е. в Грассе. — В.П.), и опять стало проявляться в нем то, что я люблю в нем, — все же эти быстрые, как сон, три месяца его славы он отсутствовал. Но много вообще произошло за эти три месяца...»

Первоначальное решение Бунина ехать в Стокгольм одному было доведено и до шведской стороны и вызвало огорчение членов комитета. Что также не могло не повлиять на изменение его. А как восприняла этот удар Вера Николаевна?

Об этом можно судить из переписки с мужем — самым ярким свидетельством того, что происходило в ее душе. С того рокового времени (1926 год), когда ей стало известно о романе Бунина с Галиной Кузнецовой, а затем и в последующие годы совместного проживания под одной крышей ей пришлось пережить мучительные страдания, тяжкую внутреннюю борьбу с собой. И она сумела найти выход из духовного, психологического, жизненного тупика, в котором оказалась. Душа ее раскрылась Богу и нашла опору, обрела спасительные силы жить, пройдя очистительный катарсис, преобразясь.

Внутреннее отчуждение Бунина с момента получения известия о присуждении Нобелевской премии Вера Николаевна почувствовала остро. Вот что записывает она в дневнике в Берлине, по пути из Стокгольма во Францию: «Не знаю, как относиться к Нобелевской премии. С ней тоже что-то утерялось дорогое для меня в Яне...»

Вернувшись в Париж, семья разделилась: Бунин и Галина остались в городе, а Вера Николаевна и Зуров несколько дней провели в городках Дижон и Авиньон. Оттуда Вера Николаевна пишет Бунину письмо (январь, 1934 год), где есть почти исповедальные строки: «...очень немногие люди знают, в чем счастье. За семь лет (с 1926 г. — В.П.) я очень изменилась — и срок такой, когда человек даже телесно почти весь меняется. Много ценного я приобрела за этот срок, от многого, чего жаждала двадцать лет моя душа, с несказанной болью отказалась. До конца поняла, что человек рождается один, страдает один, умирает один, и жить, значит, должен один, не физически, а духовно, духовно, психически. Поняла, что жить без Бога, без личной ответственности нельзя, и еще больше поняла, и это за самое последнее время, что ни на кого, даже на самого близкого человека, надеяться нельзя, и он может тебя оскорбить тем, что тебе не верит, как люди оскорбляют Бога своим неверием. Надеяться нужно лишь на Бога и при Его помощи на самого себя... нужно лишь освободиться от всяких пут земных, если Бог и долг не накладывают их на тебя...»

Тут очень важна ее дневниковая запись, сделанная в сентябре двадцать девятого года: «...Не имею права мешать Яну любить, кого он хочет, раз любовь его

имеет источник в Боге. Пусть любит Галину, Капитана (Рощина — В.П.), Зурова — только бы от этой любви было ему сладостно на душе».

Обратим внимание на важную мысль, на слова «Бог и долг» — это то, чем жила она после пережитых страданий. Нет, конечно, боль не была изжита до равнодушия, в апреле этого же года она с горечью сетует: «Многое я за этот год поняла. Главное, что никому я собственно не нужна, как я, моя душа...» Это после двадцати семи лет совместной жизни с Буниным!

Но не только отношение к себе ее огорчает. Иван Алексеевич, все еще находясь, по словам Галины, «во внутреннем отдалении», во внешнем кружении банкетов, встреч, просьб, всего того, что сопровождало его лауреатство, был невнимателен и к близким, к их душевному состоянию, порой неосознанно, несправедливо. И Вера Николаевна тактично напоминает ему: «Нобелевская премия существует для масс. Правда, кто тебя не ценил, оценили. А для людей, ценивших твой талант, Нобелевская премия ничего не прибавила, как, согласишься, она не могла ничего прибавить бывшим нобелевским лауреатам...».

У Ивана Алексеевича в эти месяцы растет раздражение против Зурова — тот плохо и мало работает, зарабатывает писательским трудом гроши, живет «нахлебником».

Вера Николаевна, оскорбленная несправедливостью мужа, вынуждена напоминать, что в годы бедности ему помогали многие: «И никто из тех, кто помогал тебе, не оскорблял тебя...» И упрекает: «И как ты можешь в месяцы твоего вознесения над людьми, в месяцы, когда ты в удаче, быть таким мелким, невеликодушным...»

Это январское тридцать четвертого года письмо к мужу, прежде всего, о денежных тратах, совершенных Верой Николаевной и Зуровым при поездке в Авиньон и Дижон.

Раздражение мужа воспринято ею как оскорбление, и оскорбление гораздо более глубокое. Она напоминает о Галине, на которую тот трат не жалел; о том, что он все-таки муж, и вместе прожиты десятилетия, что его отношение нетерпимо по сути: «А у тебя нет чувства мужа, как нет чувства хозяина... Ты знаешь, что многие мне уже советовали уйти от тебя, видя мое оскорбительное положение, удивляясь твоему тону со мной...» И далее: «Вывод такой: я тебе не нужна ни с какой стороны...»

Оговоримся: приведенные цитаты из писем и дневников важны здесь не для того, чтобы «посудачить» о семейном, потаенном мире писательской жизни. Нет, они для того, чтобы острее ощутить, какая тяжкая моральная атмосфера тяготила Буниных в посленобелевские дни, в каком состоянии находился сам Иван Алексеевич. Грозные разряды, ощутимые в этой атмосфере, все более сгущавшейся, не сулили ничего хорошего.

Самое поразительное, что денежные проблемы стали лишь внешним поводом для, мягко говоря, странного в эти месяцы отношения Бунина к близким, ведь нобелевским капиталом он распоряжался отнюдь не расчетливо, а широкими жемами. Только в фонд помощи нуждающимся писателям выделил 120 тысяч франков. При этом признавался, что «с деньгами я не умею обращаться». Можно лишь предположить, что происходило в душе Бунина в краткие мгновения славы.

Очевидно, что накалявшаяся атмосфера, создаваемая им самим, вела к чему-то более драматичному. Для него самого, прежде всего. А для Веры Николаевны, остающейся до конца дней верной и любящей женой, — к новым испытаниям и подтверждением правильности ее духовного пути к Богу и жизни с Богом. Спасительного и для Бунина.

Галина поселилась на грасской вилле Буниных в двадцать восьмом году. В следующем году здесь поселился Леонид Зуров. Оба — начинающие писатели, без средств к существованию, без ясных перспектив на будущее. Но было желание научиться мастерству у Бунина, творчество которого пленяло, завораживало тайной, которую предстоит познать, овладеть секретами мастерства, чтобы стать профессиональными литераторами. Писала, занималась переводами и сама Вера Николаевна.

На Бельведере сложилась необычная писательская общность, объединенная не только профессиональными интересами. Но что такое совместная жизнь нескольких творчески одаренных людей? Зинаида Николаевна Шаховская, тоже писательница, хорошая знакомая Буниных, вовсе не случайно писала об атмосфере дома Буниных, оценивая ее в поздние годы: «...писатели, от гения до графомана, все же люди особенные — сам позыв к писанию вещь необъяснимая и ненормальная... их близкое сосуществование уже представляет тяжесть и трудность».

Все это оставалось в бунинском окружении до конца его дней. Конечно, Галина и Зуров задумывались над тем, как обрести самостоятельность, не жить с тяжелым чувством «приемных детей», материальной зависимости. Этот душевный груз подспудно томил, искал разрешения.

Труднее всего было Галине, ведь рядом Вера Николаевна, во всем готовая помочь, поддержать. Спустя несколько месяцев проживания вместе с Буниным она признается в дневнике: «Я все сильнее чувствую тоску по вольной жизни». А спустя еще три года это настроение усиливается (1931 год, Грасс): «Вышла на секунду, посмотрела на влажный сад, на небо, на громаду кипариса, уходящую в синеву, и стало как-то смутно: вместо всего этого, пока еще есть молодость, надо было бы совсем другое!»

В преднобелевские месяцы и после, когда временное «отчуждение» Бунина ранило особенно больно, такие чувства и мысли овладели еще сильнее, требовали какого-то выхода.

И выход нашелся. Да такой, что осознать последствия было мучительно трудно для всех. Для Ивана Алексеевича особенно: не спасало и феноменальное творческое воображение, а разум не подсказывал ответа. Не лечило и время.

В 1948 году, посетив Буниных в парижской квартире, Зинаида Шаховская пишет, ретроспективно оценивая сложности грасского их житья: «Всем было трудно в Грассе. Всем было нелегко, а Леонид Зуров даже заболел душевной болезнью... Все четыре участника грасского периода, — отмечает далее Шаховская, — были люди хорошие, и поэтому-то и мучились, каждый по-своему».

Здесь можно бы привести некоторые свидетельства о грасской атмосфере близкого знавшего быт Буниных Александра Бахраха из его книги «Бунин в халате». Но вспоминается негодование и возмущение французского профессора Ренэ Герра, которое он неоднократно высказывал, будучи в Ельце и Липецке, о воспоминаниях Бахраха. Ограничусь лишь двумя цитатами из переписки самого Бунина. Из письма М.С. и М.О. Цетлиным от сентября сорокового года: «...передаю привет вам всего моего дома (самого удивительного на свете, кажется)». И другую бунинскую строку, которая ярко отражает отношения между ним и Леонидом Зуровым.

Письмо послано Цетлиной в апреле сорокового года и касается материальных обстоятельств жизни. Бунин упрекает Марию Самойловну в том, что «верите этому наглому хаму Зурову, который опять влез в мой дом и, живя за 10 франков в сутки совершенно на всем готовом, распоряжается полностью не только Верой Николаевной, но всем моим домом и орет на меня...»

Вот оно, бунинское раздражение, даже ярость, и не на пустом месте, конечно. Материальное неблагополучие тяготило, не спасла и Нобелевская премия. Насту-

пила хроническая бедность. Надеяться приходилось на помощь со стороны да на собственный литературный труд. «Нахлебники» приносили в дом немного, что и вызывало раздражение Бунина, ведь это тянулось из года в год. Но эти материальные житейские невзгоды несравнимы с тем ударом, который невольно нанесла ему Галина.

По пути из Стокгольма в конце декабря тридцать третьего года Бунин с Верой Николаевной и Галиной посетили Дрезден и Берлин. Психологическое напряжение торжественных дней сменилось усталостью. Вера Николаевна отмечает: «Чувствуется вялость». И далее: «Не знаю, как отнестись к Нобелевской премии, с ней тоже что-то утерялось дорогое для меня в Яне...» В Дрездене посещали семью Степунов, ходили в церковь. «Ян с Ф.А. (Степуном — В.Л.) перешли на “ты”. У них живет его сестра Марга. Странная большая девица — певица...», — такой увидела Маргариту Степун Вера Николаевна.

Здесь-то и возникло первоначальное чувство между Галиной и Маргаритой Степун, как оказалось, соединившее их до конца дней.

Стресс, пережитый за последний месяц, сказался на всех, переменял всех. Многие поступки в ровном течении жизни вряд ли состоялись бы. А теперь... Бунин по-прежнему был отчужден, затянутый в круговорот торжеств, Вера Николаевна пребывала в растерянности, Галина оказалась под влиянием Марги Степун.

Вернувшись в Париж, она записывает в дневнике: «Странное чувство пустоты, конца... Жизнь все-таки переломилась, и надо опять начинать какое-то новое существование... Какое чувство жалобной грусти и пустоты!»

Вот он, психологический рубикон, который внутренне уже состоялся, уже перейден в ее душе. И в таком состоянии надо было возвращаться в привычную граскую жизнь. «Мысль о Грассе не пугает, но как-то холодит душу...»

Тут надо отметить — психологическая драма, переживаемая всеми жильцами «Бельведера», усугублялась тем, как Бунин распорядился премиальными деньгами. Надежда на то, что премия улучшит их быт, защитит от постоянных мыслей о деньгах, растаяла вскоре. Часть средств была пожертвована через созданный комитет нуждающимся писателям, эмигрантским организациям, близким и знакомым. Попытки вложить средства в ценные бумаги также не спасли.

Зинаида Шаховская пишет: «Бедность Буниных была удивительна. При умениях и малой доли практичности денег Нобелевской премии должно было хватить им до конца. Но во времена “жирных коров” Бунины не купили ни квартиры, ни виллы, а советники по денежным делам, видимо, позаботились больше о себе, чем о них...»

Красноречива запись в дневнике Ивана Алексеевича весной тридцать шестого года: «Да, что я наделал за эти два года... Агенты, которые вечно будут получать с меня проценты, отдача Собрания сочинений бесплатно — был вполне сумасшедший. С денег ни копейки доходу».

Попытки приобрести свою крышу над головой были, Бунин искал подходящий дом в Грассе, в Каннах, в Париже, Ле-Лаванду... Но, как грустно отмечает Шаховская, «дом Буниных остался пустодомом!»

Да, непрактичность, безуспешные попытки решать проблемы самому, без Веры Николаевны, доверчивость к тем, кто предлагал помощь в «выгодном» распоряжении деньгами — все так. Но и душевная рана, нанесенная Галиной, не просто мучила, а накладывалась на все поступки, деформируя трезвый взгляд на жизнь — свою и окружающих. И если бы рядом не было Веры Николаевны, настрадавшейся за эти годы, пережившей мучительные чувства, но одолевшей свою боль, то, как знать, чем закончилась бы «измена» Галины для Бунина.

«Любовь страшна, импульс страсти — импульс самоуничтожения», — делает вывод Шаховская. «В неверном, опасном мире единым якорем спасения для Бунина была верная душа его жены», — это ее же наблюдение. Ниже, из писем Веры Николаевны к мужу, мы увидим, как точны ее мысли.

Известны отзывы о Вере Николаевне Марины Цветаевой и Нины Берберовой. Обе едины в своих оценках: «глупа». Но так ли это? Не поверхностный ли это взгляд? Вот что пишет Шаховская: «Она была все же необычным человеком, и замечалась в ней не так житейская мудрость, как мудрость сердца, а главное — почти нечеловеческое терпение...»

После Нобелевской премии Бунин, как это ни парадоксально, на фоне его широких жестов по оказанию помощи стал особенно болезненно воспринимать денежные траты семьи. Письма этих лет особенно красноречивы, и Вера Николаевна в своих письмах мужу подробно отчитывается о расходах — до последнего франка.

А жильцов с годами, по мере возрастания нужды, не убывало: вошла в их круг знакомая Елена Жирова с дочерью, Маргарита Степун, наездами живет Николай Рощин. Но это особая тема — бедность, нужда, всю жизнь сопровождавшая Бунина. Есть такая строка в письме его к Цеглинным в октябре сорокового года с просьбой о помощи: «Ужели нобелевскому лауреату погибать?» И это не просто слова — крик души.

Но вернемся к душевному потрясению, нанесенному шагом Галины Кузнецовой.

Трудно судить о тайнах человеческой души, особенно в делах любовных. Ясно одно: годы, проведенные Галиной рядом с Буниным, подготовили в ней душевный перелом, который и обусловил ее дальнейший выбор судьбы.

Можно верить или не верить свидетельствам Ирины Одоевцевой, близко общавшейся и с Буниным, и с Галиной, но вот что она пишет: «Степун был писатель, у него была сестра, сестра была певица, известная певица — и отчаянная лесбиянка. Заехали (т.е. Бунины к Степунам — *В.П.*), и вот тут-то и случилась трагедия. Галина влюбилась страшно — бедная Галина... Разве мы, женщины, властны над своей судьбой? Степун властная была, и Галина не могла устоять».

Началась переписка, общение в Париже. Наконец, в мае следующего 1934 года, Марга приезжает в грасский дом Буниных. И наступает прозрение.

«Марга у нас третью неделю, — пишет в дневнике Вера Николаевна. — Она нравится мне. С Галей у нее повышенная дружба. Галя в упоении и ревниво оберегает ее от всех нас...»

Бунин в эти месяцы наконец-то определился в поисках своего дома и решает приобрести виллу «Бельведер». Но покупка так и не состоялась. И причина, очевидно, в мучительных переживаниях — потере Галины. С этим он смириться не мог, чувство утраты довлело.

«Повышенная дружба» ее с Маргой пока еще только удивляет Веру Николаевну: «Ее обожание Марги какое-то странное», — записывает она в дневнике. Для самого же Бунина давно все ясно. «Ян очень утомлен. Вид скверный. Грустен. Главное, не знает, чего он хочет. Живет возбуждением и от этого очень страдает», — таким видит мужа Вера Николаевна.

К осени Галина уезжает — к Марге, которая покинула Грасс еще летом. Бунин в постоянном напряжении, нездорова и атмосфера в доме.

«Ровно год, как раздался звонок из Стокгольма и все завертелось. Кутерьма пошла и до сих пор мы не обрели покоя... и до сих пор мы точно во сне», — подводит итог Вера Николаевна. Иван Алексеевич мечется — то в Париж, то в поездках по европейским городам. И летом следующего года в дневнике Веры Николаевны появляется строчка: «Пребывание Гали в нашем доме было от лукавого...»

Ко всему жизнь усугубляется болезнями, известиями о смерти родных и близких, душевной опустошенностью. Бунин словно в душевном оцепенении, много пьет, пытаясь забыться. В Каннах, куда летним днем отправился искупаться в море, «встретил их (т.е. Маргу и Галину — В.Л.). Выпил две рюмки коньяку. В Грассе купил Тавель и еще 1/4 коньяку. За обедом 1/2 б<утылки> вина, хлебнул еще коньяку, после обеда был очень говорлив, но не чувствовал себя во хмелю, лег полежать и заснул». И как-то безвольно продолжает: «Вот так и умру когда-нибудь — заснув, — делаю над собой почти непостижимое».

А подруги рядом — живут на «Бельведере», в парижской квартире, иногда в поездках, в Берлине, Геттингене. Бунин словно в наваждении, в плену своих противоречивых чувств. Вот запись от мая тридцать шестого года: «Она в Берлине. Чудовищно провел 2 года! И разорился от этой страшной и гадкой жизни».

И тут же воспоминания совсем, кажется, недавних и счастливых лет: «Радио, джазы, фокстроты. Оч<ень> мучит. Вспоминаю то ужасное (по последствиям — В.Л.) время в J.les-Pins (Жуан-ле-Пэн), балы в Париже, — как она шла под них. Под радио все хочется простить».

Не прошло еще — даже с годами! Ниже, из переписки с женой, увидим — страсти терзали его постоянно, порой выплескиваясь — в строчках писем — яростью и бессилием.

К осени тридцать четвертого года переживания Бунина накаляются. И он ищет в Вере Николаевне хоть какую-то опору, союзника своим мучительным чувствам. Она-то к этому времени уже пережила своего рода катарсис, преобразование — перешагнув через свои страдания. И понимала: Яну нужна помощь, совет, чтобы он нашел в себе силы, преодолел терзающие его страсти, губительные, противоречивые, безрассудные.

В ноябре Иван Алексеевич пишет жене: «Чувствую себя так себе, довольно грустно. С Галиной дело дрянь — от нее ни слова, как видишь. Это меня беспокоит очень — **не потому, что хочу от нее писем**, а потому, что она, **значит**, — и, конечно, не без помощи Марги — “держит фасон”, а кроме того, не чувствует за собой никакой вины ни за что, а напротив, чувствует, что **я виноват** перед ней, и вообще находится в таком настроении: **“ах, да ну его к черту совсем! Отравляет мне жизнь!”** NB. Милая моя, совершенно не понимаю, как же мы будем жить после этого вместе — **хотя бы как-нибудь?!**»

Как видим, пытаюсь понять Галину, Бунин воображает, реконструирует ее якобы мысли, чувства и настроения, тем самым усугубляя свою боль и недоумение. С его-то силой воображения!

В ответ Вера Николаевна пишет ему совершенно потрясающее письмо — увещающее, мудрое, наставляющее. Прежде всего, предупреждает, понимая, какой клубок сплетен и пересудов вызовет любое неосторожное слово Бунина, сказанное им в раздражении: «И очень прошу, **ни с кем** не говори. Помни, что все равнодушны, большинство только будет торжествовать. Иметь возможность сообщать пикантные сведения друг другу...»

«По себе знаю», — пишет она, словно припоминая время, когда муж был счастлив с Галиной. И советует — как следует вести себя по отношению к Галине и Марге, не высказывать ревнивых, обидных чувств, не пытаться вернуть то, что уже невозможно: «Зачем же ты девять месяцев тратишь весь свой талант, чтобы усилить чувство Гали к Марге; не подстегивай ее к дальнейшему разрыву. Только приняв случившееся, как данность, можно обрести покой».

И еще более жестко: «Ты все себя жалеешь. Прими это, как **искупление**. Много у тебя вин. Не мсти Гале за то, что она сделала и делает тебе больно — без тебя за все расплатится... Отдай себе отчет в своих силах. Пойди в церковь, помолись,

чтобы у тебя хватило сил переносить взятие. Я уверена, если Бог тебе поможет, то ты сам будешь удивлен, как это легко. Нужно брать от жизни то, что она дает, и мы не знаем, когда получим лучшее...»

Какая просветленная мудрость христианской души! Перестрадавшей, переболевшей, но нашедшей Бога!

В следующем письме вновь убеждает: «Не пропускай случая что-нибудь сделать, и не предавайся ненужной печали. Все от нас самих».

Но обиды тяготят, переплетение сложных чувств усугубляет и без того горькие мысли Бунина. Он по-прежнему пытается по-своему объяснить новый шаг Галины, каждое ее слово в письмах ему. И не находит того, что ищет: «Ни одного **живого** следа столь долгой и близкой прежней жизни!»

Поразительно — он, обладающий даром феноменальной, образной (чувственной) памяти, не может или не хочет вообразить чувства Галины, попытаться «быть ею» в воображении, осветить тем самым тьму, в которой оказался. Он видит другую Галину, нанесшую и продолжающую наносить ему раны. А слова жены, хоть и мудрые, — как их принять в таком состоянии?

И он снова срывается почти на ругань: «Галю мне очень жалко. Погубила ее эта стерва-блядь!»

Жалко ту, близкую, знакомую, покорную ему во всем Галину, но не чужую теперь, жестокую и бессердечную, которую он рисует в своем воспаленном представлении, «совсем чужого нам человека, очень от нас замкнувшегося».

Порой его негодование обращается на «обольстительницу», и это тоже не скрывается от Веры Николаевны в письмах:

«Заходил Фондаминский... Говорил: «Степуны (родные Марги — *В.П.*) страшно огорчены, думают, что вы и их мешаете в эту мерзкую историю, уже не первую у Марги».

Ожидая Галину в Париже — та жила в Геттингене, — делится мыслями с женой: «...до чего дошло, как грустно — Марга не пустит из ревности (я убежден все-таки, что ревность развратная, половая, даже если нет действий физических)».

Вера Николаевна вновь увещевает: увести Галю от Марги и пытаться не нужно, «чувство ее к Марге убить нельзя». Но: — «Ты, как скала, сколько не бейся, вода в тебя не входит», — это о своих советах, тщетных, не воспринимаемых.

Раздражают и слухи, пересуды не утихают. Бунин пересказывает в одном из писем некоторые сплетни. Будто бы «у нас гостил летом Степун (брат Марги, философ — *В.П.*), обольстил ее, и она “сбежала к нему”. Никто из знакомых меня о ней уже не спрашивает по-человечески, все вскользь, тоном неумеренно-невинным. Слышал еще... она жила с \langle уровым \rangle , он где-то в кафе — прошлой зимой — вел себя с ней как с любовницей, уже надоевшей ему, видимо — “грубо и небрежно”. Верно и на “ты”. Мерси, мерси...»

И это тоже надо было пережить. Бунин пытался убедить себя, что уже не испытывает к Галине ни любви, ни злости, «надоела, конец». Но это лишь попытка самообмана, ложное самоуспокоение.

В январе наступившего тридцать пятого года, уже проживая в парижской квартире вместе с Галиной, чужой, далекой, он вновь раздражает себя мыслями о близости ее с Маргой, видя их регулярную почтовую переписку: «Легко себе представить, как приятно чувствовать возле себя враждебный комплот двух бешено-сладолюбивых любовниц... Влюбленность их, истинно бешеная, **ничуть** не ослабела пока. Но надо до времени молчать».

Молчать о чем? О его якобы окончательном решении — полный разрыв! Но это, увы, были лишь мысленные решения, чувства им не подчинялись. «Бешеное сладострастие» — это все распаленное воображение. Обе женщины жили в нужде, не

имея крыши над головой. Единственным спасением был дом Буниных, где им придется пребывать еще не один год, покидая его лишь на время.

И тут роль Веры Николаевны огромна: она не могла оставить в беде Галину, теперь уже не одну, а с Маргой. А помогать всем — это яркая черта ее характера. Потому-то она так настойчиво убеждала мужа смириться, помириться, обрести душевное равновесие — ради себя самого и благополучия Галины, члена их семьи.

Вера Николаевна пытается урезонить страсти, терзающие мужа, убеждает посмотреть на произошедшее трезво. Порой ей кажется — он заболел, душевное состояние его вызывает тревогу. И упрекает: «Что бы я тебе ни советовала, ни говорила, ты никогда с самой премией меня не слушаешь... Но мне все же очень жаль тебя, и мой долг сказать тебе: пожалей себя! Кроме тебя **никто не виноват...**»

И, наконец, вынужденно напоминает:

«Ведь ты понимаешь, что никто, как я, не понимает ту боль, которую ты теперь чувствуешь, ибо восемь лет назад (начало романа Бунина с Кузнецовой — *В.П.*) я перенесла такую же болезнь, если не большую. Разница одна, я стала винить себя и сделала невероятное усилие, оправдывала тебя и преобразила свое чувство...»

Она из собственных пережитых душевных страданий понимала: преодолеть боль можно лишь преобразясь, изгнав из сердца гнев и обиду. «Но как тебя в этом убедить? Не знаю, только молюсь об этом, — пишет Вера Николаевна в том же письме начала тридцать пятого года. — Ты как жупела боишься М<арги> и все делаешь с какой-то сумасшедшей страстью, чтобы утвердить эту связь (Галины и Степун — *В.П.*). Точно бес тебя научает...»

Бунин не слышит, вновь и вновь безуспешно пытается разорвать порочную связь, напоминает Галине, что не станет материально помогать ей. «Требую, чтобы ты поехала в Грасс и пожила там до апреля — очухалась, пришла в себя, и уж **потом** решила этот вопрос о переселении к Марге и о жизни с ней». Это в том же тридцать пятом году.

А в следующем году в письме из Грасса к Вере Николаевне (она была в Париже) покаянно признается: «Все эти последние 2 года были у нас сплошным безумием — тут, в тишине, в этой уже полной законченности нашей прошлой жизни, почувствовал и увидел теперь особенно ясно. Господи, что она наделала над собой и над нами! Вот тебе и премии, и вершина моей жизни — полетел, благодаря ей, к черту на рога!»

Вера Николаевна чутко воспринимает начало трудного перелома, свершавшегося в душе мужа, и вновь умоляет: «Не отравлял бы себе годы жизни... Ведь многое от воображения. Одно умоляю, **не копи злобы...**»

Злоба, ярость, может быть, и поутихли, но другие чувства овладевают им: «А что же наша красавица, — что у них решено? Жалко мне ее ужасно».

По продолжающейся переписке, однако, видно, как часто меняется настроение Бунина, как вновь и вновь раздражает он себя злыми мыслями. Продолжаются упреки в адрес Галины за два мучительных года переживаний: «Да кто же виноват этом, кроме ее натуры... Насильно мил не будешь, да и не велика беда. Кума пешей, куму легче. Найду других сколько угодно и не хуже вас...»

Эти слова — воображаемой Галине, в воображаемом с ней разговоре наедине. А в дневнике записывает (22 апреля): «...Шел по набережной, вдруг остановился: да к чему же вся эта непрерывная, двухлетняя мука? Все равно ничему не поможешь! К черту, распрямись, забудь и не думай! А как не думать? “Счастья, здоровья, много лет прожить и меня любить!” — все боль, нежность. Особенно когда слушаешь радио, что-нибудь прекрасное...»

Здесь видно, как идет мучительное бореие между рассудком и чувствами. А лекарство одно — он по-прежнему много пьет. В Каннах встречается Галину и Маргу. «В кафе встретил их. Выпил 2 рюмки коньяку. За обедом 1/2 б<утылки> вина, хлебнул еще коньяку...»

Летом этого же года умоляет жену вновь повлиять на Галину, «спасти» ее: «Скажи ей кратко и с предельной убежденностью: настал последний — это уж действительно **самый последний** — срок собрать все силы своего разума и своей воли, очнуться до конца — и, пока не поздно, — **а ведь вот-вот будет поздно!** выско-чить из той погибельной (потом добавляет — «и позорной» — *В.П.*) ямы, в кото-рую она, разбежавшись в бездумной воспаленности всего своего обезумевшего су-щества, сорвалась и покатила...»

И вновь продолжает терзать себя: «В нашей с ней жизни было нечто очень боль-шое, и вот, оказывается, что для нее ровно ничего не было, и я стал для не просто несуществующим».

Со дна души порой всплывает ярость, мутная, злая: «И с этой самой Маргой, весьма укрепившей ее в ее зверстве, я еще посчитаюсь и так, что ей небо в овчинку покажется».

Эта потаенная, сокрытая от мира внутренняя борьба Бунина осложняла и без того трудное существование жильцов дома, его самого. Нобелевские деньги тая-ли, необходимо было зарабатывать средства на жизнь — скромную, а то и просто бедную. Переговоры с издателями, просьбы к сильным мира сего о помощи, лек-ции, выступления, поездки по европейским странам, и рядом все та же боль, без-зуспешные попытки вернуть любовь.

Порой он падает духом. Обращается к жене с просьбой убедить Галину вернуть его письма: «Страшно прошу — не читай, заклей в конверт — мне стыдно...»

Вера Николаевна отвечает: «Ты ведешь себя, как будто тебе 18 лет». И пытает-ся примирить с Галиной: «Галя в хорошем духе. Очень хорошо о тебе всегда гово-рит. Я чувствую, что она втайне мечтает помириться, она мне говорила, что ску-чает по тебе».

И в который раз убеждает: не злом, не мезтью лечится боль, а добром. «Раз в твоём сердце нет ей прощенья, как же ты хочешь ее оторвать от близкого челове-ка (т.е. от М. Степун — *В.П.*), который ничего ей дурного ни в каком смысле не делает...»

Весь тридцать шестой год прошел для Бунина, словно в бесконечном ожида-нии чуда. А гнев и раздражение от того, что чуда не происходит, жизнь идет сво-им путем. Вот, признается он Вере Николаевне, написал Галине «удивительно нежное письмо», а в ответ несколько якобы равнодушных слов. И возмущается: «Да это выродок, камень!»

А жизнь все ухудшается, приближаются тревожные годы, которые ничего хо-рошего не сулят ни миру, ни Франции, ни грасским обитателям.

В конце сорокового года, вспоминая счастливый тридцать третий, Бунин запи-сывает в дневник: «Семь лет тому назад весть о Ноб<елевской> премии. Был сча-стлив и, как ни странно сказать, молод. Все прошло невозвратно (и с тяжкими, тяжкими днями, месяцами, годами).

В сорок первом, военном, «семья» в Грассе, все вместе, на вилле «Жаннет». Какие чувства переживает Иван Алексеевич? О чем его мысли?

Они горьки: «А нищета, а бесприютность почти всю жизнь!.. Вообще, чего толь-ко я не пережил! Революция, война, опять революция, опять война... И вот ста-рость — и опять нищета и страшное одиночество — и что впереди!»

Галина и Марга — рядом. Но чужие. «Опять весь день думал и чувствовал: да

что же это такое — жизнь Г. и М. у нас, их злоба к нам, их вечное затворничество у себя! И вот уж третий год так живут!»

Подспудно — а память ворошит былое все время — появляется жалость: «Мне нынче ужасно (их) жаль, грусть за их несчастную жизнь. Все вспоминается почему-то и вся моя несчастная история с Галиной...»

Сорок второй год, весна. В дневнике появляется новая запись: «Весен<ний> холод, сумрачная синева гор в облаках — и все тоска, боль воспоминаний о несчастных веснах 34, 35 годов, как отравила она (Г.) мне жизнь — и до сих пор еще отравляет! 15 лет!..»

А впереди годы войны. Перебраться в Америку Бунин отказался, о чем позже, в тяжелые минуты, сокрушался: «Тем, что я не уехал... в Америку, я подписал себе смертный приговор. Кончить дни в Грассе, в нищете, в холоде, в собачьем голоде!»

Но, ставшая уже привычной, боль не покидает. Вернувшись из Ниццы, «узнал о письме Г. к Вере (уже из Марсея): “Покидаем Францию”. Бросилась в пропасть головой...»

Это сорок третий год. В начале сорок четвертого — новый, как бы подводящий некую условную черту под многолетними мучительными переживаниями, эмоциональный надрыв: «Вчера письмо от Зайцева — Г. и М. в Дрездене, Г. ведет хозяйство (у Степунов, конечно), М. готовится к весеннему концерту. Да, хорошо я выдумал слова мужика в “Вес. Вечере”: “Жизнь нам Господь Бог дает, а отнимает всякая гадина”».

Нетрудно догадаться, о ком столь жестокие слова. Справедливы ли они? Но вольно судить, да трудно принимать...

Галина навсегда покинула Грасс в сорок втором году, потом Францию, а в сорок девятом уехала с Маргой в Америку. Но связь с Буниным не разорвалась, завязалась переписка. Сам же Бунин жил горькой и неизжитой памятью о ней.

Можно сомневаться в точности воспоминаний Ирины Одоевцевой, в точности воспроизведения бесед с Иваном Алексеевичем в «Русском доме» в Жуан-ле-Пэн, где они вместе отдыхали в октябре 1947 года, но вряд ли они далеки от смысла сказанного им:

«...Раз, когда мы с ней (Галиной — В.П.) возвращались домой, до того устали... я подумал — как хорошо было бы сейчас лечь здесь, под шуршащим тополом, обняться и уснуть вместе... мне вдруг мучительно захотелось не только уснуть, но умереть вместе с нею. Умереть с нею...» Он молчит с минуту, потом говорит срывающимся голосом: «И все-таки она меня бросила, бесчеловечно бросила! Бросила, зная, что это убьет меня» (И. Одоевцева. «На берегах Сены»).

В пятидесятых годах Бунин пригласил Галину и Маргу вести корректуру своих книг, издававшихся в Нью-Йорке. Были и трогательно-сердечные письма, в которых, уже ностальгически, вспоминались годы совместной грасской жизни.

Почему-то во всей этой долгой, растянувшейся на годы, душевной драме Бунина мне слышатся мелодия и слова забытого романса девятнадцатого века:

Пусть даже время рукой беспощадно
Мне указало, что было в Вас ложного,
Все же лечу я к Вам памятью жадно,
В прошлом ответа ищущ невозможного...

Великий писатель! Живой человек, с человеческими страстями, слабостями, раненой душой. «Есть сумерки души; она, — писал Лермонтов, — сама собою стеснена». Но вот что поразительно: именно в трудные годы войны, в непрерывных, как мы теперь знаем, «сумерках души» Иван Алексеевич создал цикл рассказов, объединенных затем в книгу «Темные аллеи», которая вышла в сорок шестом году.

В дневниках Иван Алексеевич прямо указывает на особенности своего творчества, уходящего в глубины его индивидуальности, чрезвычайно одаренной натуры.

Отличие писателей, поэтов от других людей в том, что они обладают «способностью перевоплощения и, кроме того, особенно живой и особенно образной (чувственной) памятью...» Но не только — важны еще «огромная подсознательность», «свежесть ощущений», наделенность «обостренным ощущением Всебытия». Конечно, рядом с подсознательностью «огромная сознательность».

Когда читаешь его произведения, невольно возникает ощущение реальности — настолько образно, ярко до мелочей повествование. Бунин будто скрупулезно записывает все, что видит, слышит, осязает, обоняет.

Читаем запись от октября сорок первого года: «все... *Никто не верит, что я почти всегда все выдумываю, все, все.* Обидно! “Баллада” (его рассказ — В.П.) выдумана вся, от слова до слова — и сразу в один час. Как-то проснулся в Париже с мыслью, что непременно надо что-нибудь <послать> в “Посл<едние> новости” (газета — В.П.), должен там; выпил кофе, сел за стол — и вдруг ни с того, ни с сего стал писать, сам не зная, что будет дальше. А рассказ чудесный».

Какое яркое свидетельство! Но не единственное. Вот дневник за сорок второй год, ноябрь:

«В “Нов<ом> журнале” (вторая книга) — “Натали”. И опять, опять: никто не хочет верить, что в ней *все от слова до слова выдуманно*, как и во всех почти моих рассказах, и прежних, и теперешних. Да и сам на себя дивлюсь — как все это выдумалось — ну, хоть в “Натали”. И, кажется, что уже больше не смогу так выдумывать и писать».

Сорок четвертый год, 14 мая: «За вечер написал “Пароход Саратов”»;

23 мая: «Вечером написал “Камарг”».

22 июня: «Уже почти час ночи, а хочется писать».

И это в годы, когда в тревоге следил за исходом войны, когда решалась будущая судьба России, мира: «Взята *Одесса*. Радуюсь. Как все перевернулось».

Особенно поразительна одна из дневниковых записей за сорок второй год, показывающая силу воображения Бунина, силу перевоплощения в героев своих произведений. Речь — о работе над рассказом «На постоялом дворе».

Цикл «Темных аллей» тематически един. Но не все созданные Буниным новеллы вошли в первое и последующие издания книги, ряд вещей, в силу разных причин, писатель не включил в сборник. Среди них рассказ «На постоялом дворе».

Исследователи отмечают: «“Темные аллеи” вырастают из работы над вторым томом “Жизни Арсеньева”». «На постоялом дворе» — предполагаемая часть тома, но выделенная затем в рассказ.

Написание его датируется осенью сорок второго года. Последняя редакция — ноябрь. Сюжет рассказа прост, но психологически чрезвычайно напряжен — мучительными, противоречивыми желаниями героя, юного князя, еще не познавшего женщины. Он оказывается однажды на постоялом дворе уездного города. Дождь, ночь, в доме, кроме него лишь молодая хозяйка да свежая кухарка, ядреная баба. Ночью, когда все трое улеглись спать, не в состоянии справиться с собой, когда нахлынуло «высшее напряжение всех моих сил и такой решимости, которую уже ничто не могло остановить», герой бросается на кухню. Там, совсем бессознательно, в жарком бреду, овладевает кухаркой, испытывает, — пишет Бунин, — «блаженную смерть», погрузясь в «недра священного животного...»

А теперь — очень важная запись в дневнике за сентябрь этого же года, когда дорабатывался рассказ: «стал думать об этой кухарке на постоялом дворе, все вообразил с страшной живостью. Возбуждение — и до того, что уже почувствовал все, что бывает перед концом. Мурашки, стеснение во всей грудной клетке...»

С такой вот силой воображения и страсти создавались бунинские рассказы, объединенные в «Темные аллеи», или, как их можно назвать, в «энциклопедию любви».

Несомненно, драма, пережитая Буниным в посленобелевские дни, оказала влияние на создание чрезвычайно напряженного цикла рассказов, объединенных единой темой. А именно — трагизмом любви мужчины и женщины. Этот трагизм — часть трагизма всей человеческой жизни, которую Бунин остро ощущал всю жизнь. Как и мистическое, трудно осознаваемое разумом, влечение полов, мужчины и женщины друг к другу. Совсем не случайно появилось в рассказе «священное животное», ощущаемое в почти бессознательном состоянии близости, соития...

* * *

Задача этой работы — не описание очень важного отрезка жизни Ивана Алексеевича, а попытка понять и показать в меру сил его внутренний мир в драматичной, почти роковой ситуации, им пережитой.

Может быть, будут упреки — зачем «копаться» в чужой жизни?! Бунин — да, художник, а потому интересен не только своим творчеством, а феноменом всей его Личности, уникальной и яркой, сложной и противоречивой.

И задаешься вопросом, как соединить его земное бытие, человеческую трудную жизнь с вдохновенными произведениями, которые он оставил после себя? Сотворил мир, пленяющий поколения читателей.

Бунина воспринимали по-разному — осуждали, негодовали, чернили черными красками его образ, грязно ругались, как это делал Горький в поздние годы. Приведу для полноты своих раздумий некоторые тексты Нины Берберовой из ее книги «Курсив мой».

Вот как она отражает свои впечатления от посещения Бунина в парижской квартире на улице Оффенбеха в декабре тридцать девятого года:

«Мы сидели у Бунина в кабинете, и он рассказал все сначала (и до конца) про свою любовь, которой он до сих пор мучается. К концу... он совсем расстроился, слезы текли у него из глаз, и он все повторял: “Я ничего не понимаю. Разве такое бывает? Нет, вы мне скажите, разве такое бывает?”»

И далее совсем умилительная сцена: «Н.В.М. (гость — В.Л.) обнимал его и целовал, я гладила его по голове и лицу и тоже была расстроена...»

Верить ли этой, впечатляющей, но внутренне малоубедительной картине? Старый, опьяневший Бунин «рыдает на плече», а гости гладят его по головке, утешают: «Не плачь, не плачь!» Никак не верится!

Но Берберова, отзываясь о Буниных, рубит с плеча, расчетливо-умело, с художественными приемами. Вот эпизод с «ночным горшком» во время последней встречи с писателем в конце сороковых годов. И штрихи к портретам его (и Веры Николаевны) — резкие, грубые мазки:

«Он был груб с женой, бессловесной и очень глупой (не средне глупой, но исключительно глупой) женщиной, он был груб со знакомыми и незнакомыми... В последний раз я пришла к нему в 1947 и 1948 году... Я вошла в переднюю. Посреди передней стоял полный до краев ночной горшок, Бунин, видимо, выставил его со злости на кого-то, кто его не вынес вовремя...»

У Бунина был гость, «некто Клягин», тоже пишущий, они сидели на кухне, выпивали и беседовали. Увиденное и услышанное так поразило Берберову, что она, увидев «грязную кухню, двух слегка подвыпивших старых людей, которые обнимались и со слезами на глазах говорили друг другу: “ты гениальный”, “ты — наш светоч”, “ты — первый”, “мне у тебя учиться надо”, на меня нашло молча-

ние, которое я никак не могла сломать. Посидев минут десять, я вышла в переднюю... Я прошла через переднюю (горшка уже не было), вышла на лестницу, на улицу Оффенбаха, и больше уже никогда не возвращалась...»

Впечатляющие «воспоминания»! Но психологически как-то трудно воспринять их, что-то тайное, неправдивое сквозит в строчках «объективной» Берберовой. Что-то желчно-мстительное, отталкивающее.

Душевную драму, связанную с Галиной Кузнецовой, она оценивает так:

«Когда она (Галина — В.Л.) в конце 1930-х годов уехала от Буниных, он страшно тосковал по ней. За всю жизнь он, вероятно, по-настоящему любил ее одну. Его мужское самолюбие было уязвлено, его гордость была унижена. Он не мог представить себе, что то, что случилось с ним, случилось на самом деле, ему все казалось, что она вернется. Но она не вернулась...»

Здесь, считает Берберова, проявился в очень острой форме «дикарский эгоцентризм» Бунина, на этот раз в форме мучительных любовных переживаний, в страданиях гипертрофированного эгоцентризма обманутого, покинутого человека.

Что ж, были и такие «наблюдатели». Не случайно Вера Николаевна предупредила мужа: не раскрывай своих чувств, не «трезвонь» о произошедшем!

Наверное, если бы Бунин преодолел себя, закрылся от окружающих глаз и ушей, не давал повода для сплетен-пересудов, их было бы не меньше — сам факт «ухода» Галины разжигал ничуть не меньше. Однако все шло так, как мы видим по личной переписке Ивана Алексеевича и Веры Николаевны. Их семейная драма, растянувшаяся на годы, напоминает, отчасти, драму последних лет в доме Льва Толстого. Они разные, но в обоих случаях страдающие стороны одинаковы — столкнулись два мира, два полюса — мужа и жены. Разительно похожи их борения и разительно отличны. И Софья Андреевна, и Вера Николаевна боролись за мужей, спасали их от заблуждений так, как подсказывали их сердца, их жизненный опыт. Крест этих женщин был тяжел, но несли они его до конца. Вера Николаевна на своем жизненном пути проявила огромную духовную силу, преодолев все и, преобразованная, закрыла глаза любимому мужу ночью 8 ноября 1953 года...

Во все время работы над этой повестью мне не давала покоя тревожная мысль: «А имею ли я право выносить на свет подробности личной жизни великого писателя? Он признан, любим миллионами читателей, входит в пантеон классиков мировой литературы. Зачем ворошить то, что не предназначено для широкой огласки?»

Да, в своей работе я использовал официальные источники, изданные, переизданные, введенные в научный оборот. Но моральная сторона — как с ней быть? Не принимать во внимание — ведь оценки бывают разные, о «негодяе Бунине» я уже упоминал?

В воспоминаниях о Бунине Георгия Адамовича есть примечательный эпизод о встрече с Иваном Алексеевичем в Каннах в августе сорокового года. В кафе они разговорились, вернее, говорил только Бунин.

«В первый и единственный раз я слышал от него вроде “исповеди горячего сердца”, невозможной, немыслимой, если бы он не находился в состоянии, когда ему нужен был слушатель. Непривычная его откровенность меня сначала смутила... Но потом, почувствовав с его стороны дружеское доверие, сам стал кое о чем его расспрашивать, припоминая то, что иногда замечал или о чем догадывался. Передавать содержание беседы, даже в самых общих чертах, я не считаю себя вправе и, надеюсь, никто из биографов Бунина не упрекнет меня в излишней цепетильности. Ничего порочащего для кого-либо из людей бунинского окружения в словах его не было, не в этом дело. Но не рано ли было бы делиться всем тем, чем поделился он, не совсем владея собой, отчасти даже против воли? Не следует ли

подождать, скажем, несколько десятилетий, прежде чем предаваться подобным изысканиям и комментариям? Во всяком случае, я убежден, что сам Бунин возмутился бы вмешательством в его личную жизнь, когда бы допущено оно ни было — теперь или через полвека...»

После смерти Ивана Алексеевича прошло более полувека, но разве мысль Адамовича потеряла ценность и значительность?

В какой-то мере оправдывает то, что и письма, и дневники Бунины зачем-то писали и хранили. Вряд ли без мысли о будущих и неизбежных читателях их эпистолярного наследия.

Иван Алексеевич Бунин в литературном, читательском мире не икона, не фетиш, не «партийный вождь», неприкасаемый и непорочный. Нет, он живой человек, тайновидец человеческих душ, он Писатель. И в этом — оправдание того, что представлено в моей работе.

Адамович охотно засвидетельствовал слова Бунина в адрес Веры Николаевны: «О ней Бунин говорил в тот день со страстной преданностью и благодарностью, будто особенно ясно сознавая, что человек он нелегкий и нелегка должна быть и совместная жизнь с ним. Это, впрочем, было для меня очевидно и без его слов...»

Адамович также видел в их отношениях исторические параллели из жизни Пушкина и Толстого, но пишет вот что:

«Глядя на Веру Николаевну, я не раз думал, что она вытерпела бы все прихоти Толстого, подчинилась бы всем его требованиям, и вспоминал некрасовские строки: “Делай, что хочешь со мной! Сердце мое, исходящее кровью, все выносящей любовью, полно, друг мой...”»

Как это связать с «исключительной глупостью», которую в Вере Николаевне увидела Берберова? Вспомним и полную благородства повесть Бориса Зайцева «Вера» о ней же.

Когда вновь и вновь мысленно обращаешься к посленобелевским годам Бунина, его жизни и жизни близких ему людей, Галины Николаевны, то в памяти воскресают пушкинские строки из стихотворения «Воспоминание»:

Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю...

Не станем и мы смывать печальные строки из жизни великого писателя Ивана Алексеевича Бунина. Они начертаны его рукой, его судьбой.

